

К ГОДОВЩИНЕ СМЕРТИ ИОСИФА БРОДСКОГО

Лидия Панн

Отношение кого-то конечного к чему-то бесконечному

амальгамы пальцем нежность не соскрести".

Очень важно вот что: *altra ego*, хотя и вдохновляет поэта на сочинение любовной лирики, — ни в коем случае не Муза, как в обыденной жизни часто называют возлюбленную. Бродский четко отличает Музу от возлюбленной: Муза для него — язык (и поэт — орудие в его руках, как Бродский неоднократно подчеркивал). Любовь поэта не существует вне треугольника — поэт, возлюбленная, Муза. Эта вершина в треугольнике неизмеримо выше — на тысячелетия, что существует поэзия, — чем возлюбленная. Но *altra ego* развязывает язык Музе, и она начинает диктовать поэту.

При таком раскладе отношений как-то трудно ответить на вопрос: какая «женщина» для поэта «первая»? В начале был язык или в начале была любовь? Попробуем понять Бродского: «Любовь — это метафизическое предприятие, цель которого — созревание и освобождение души: упархивание ее с мякины повседневного существования. Это есть и всегда было в сердцевине лирической поэзии. <...> Проще говоря, лирическое стихотворение о любви — это душа, приведенная в движение. Если стихотворение удачно, с вашей душой может случиться то же самое. <...> Именно наличие другого в любви обеспечивает возможность метафизического опыта. Стихотворение может быть хорошим или неважным, но оно предлагает автору выход за пределы себя самого — и даже, если стихотворение исключительно хорошо или любовь продолжительна, самоотрицание». (Перевод здесь и далее мой — Л.П.)

Это корневой момент. Только в любви, в отражении в «горячем зеркале», человек видит себя равносущным другому, а поскольку другой, в принципе, — это любое «не-я», в этом «горячем зеркале» начинает отражаться весь мир. Человек приобретает новое зрение («ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть»), видя себя (почти буквально — во всяком случае, Бродский так видел) частичей из бесконечного множества живого и неживого вплоть до «самоотрицания», если иметь в виду избавление от эгоцентризма, перемещение внимания от внутреннего к внешнему, в результате: объединение внутреннего со внешним. Любовь — не убежище от мира друг в друге (это лишь первая стадия любви), любовь — мост в мир. В этом ее расширительная функция, обеспечивающая в пределе выход из физического восприятия мира в метафизическое.

«Но как только метафизическое измерение достигнуто или, по крайней мере, достигнуто самоотрицание, можно любовное лирическое стихотворение отличить <...> от стихов о любви или одушевленных любовью».

Вот она, обещанная мной разгадка: Бродский различает любовные стихи и стихи о любви (казалось бы, синонимы!), и теперь можно ответить на вопрос, поставленный в самом начале статьи: почему и те стихи, что вроде бы не о любви к М.Б., включены Бродским в «Новые стансы к Августе»? Да потому что и эти стихи — о любви!

«Стихи о любви не непременно говорят о реальном авторе и редко пользуются словом «я». Они о том, чем поэт не является, о том, что представляется ему отличным от него самого. <...> Стихи о любви в качестве своей темы могут иметь

что угодно: черты девичьего лица, ленты в ее прическе, пейзаж позади ее дома, проходящие облака, звездное небо, какой-то неживой предмет. Они могут не иметь ничего общего с девушкой, они могут описать столкновение двух мифических характеров, завядший букет, снег на платформе. Читатель, однако, поймет, что он читает стихи, одушевленные любовью, благодаря интенсивности внимания, уделяемого автором той или иной детали вселенной. Потому что любовь — это отношение к реальности обычно кого-то конечного к чему-то бесконечному».

Ясно, что для Бродского «в начале была любовь», а потом начинается слово. Другое дело, слово — тот третий в любви, что лишним никак не назовешь (для поэта). Впрочем, если «любовь — это отношение к реальности обычно кого-то конечного к чему-то бесконечному», то поскольку это «бесконечное» иногда называется Словом, или Богом, а «Бог есть любовь», то получается, что для поэта любовь и поэзия неотличимы, и вопрос, что было в начале, снимается. «Стихи — любовь стихи, независимо от своей темы, — сами по себе акт любви, причем не столько автора к своему предмету, сколько языка к какой-то доле реальности».

Разгадана ли любовь в формулировке Бродского? Да, поскольку вместо двух тайн (любви и бесконечности) мы остались с одной — бесконечностью! Честно говоря, ничего принципиально нового в этой «разгадке» нет, сходя древняя мудрость, выраженная теми или иными словами, встречается и в философии, и в психологии, и в искусстве, и в религиях. Но... захватывает то строгое доказательство жизнью и творчеством, которое дал теореме любви поэт Иосиф Бродский.

Посмотрим, как она доказывается в слове. В поэтическом слове.

Ты, в коричневом пальто,
я, исчадь распродаж.
Ты — никто, и я — никто.
Вместе мы — почти пейзаж.

Здесь («В горах») пример «самоотрицания», рожденного любовью, — приятно, каким образом: не из-за самоумаления перед любимым существом (тривиальный мотив любовной лирики), а из-за переживания равенства с ней и всем конечным перед бесконечным. Подобное «самоотрицание» перед лицом вечного и бесконечного можно прочесть в подавляющем большинстве написанного Бродским в зрелости (оно посещало его нередко и в молодости! — и в ранних стихах этого мотива хватает). Бродский слышит пессимистом, не так ли? И не заслуженно ли?

Нас других не будет! Ни
здесь, ни там, где все равны.
Оттого-то наши дни
в этом месте сочтены.

Но всмотритесь: «конечное» имеет уникальную ценность — неповторимость в вечности. Только эгоцентриком такое зрение называется пессимизмом. А главное, вслушайтесь: какой лихой, навсвистывающий мотив перед лицом смерти! Интонацией, музыкой не солжешь. Мысль изреченная есть ложь только без «музыкального сопровождения». Музыка изреченной мысли и есть ее правда. Вот почему, кстати, Бродский — сплошная ирония и самоирония: ирония музыкальна из-за близости к правде.

Бесстрашие перед личной смертью — один из итогов настоящей любви. Это бесстрашие может (не должно, но может) проявляться и в интенсивном внимании к теме смерти, столь характерной для творчества Бродского (в его случае точнее сказать — теме небытия, «фактура» которого гораздо интереснее для него «фактуры» смерти) и столь озадачивающей некоторых читателей. Нота небытия присутствует, но не исчерпывает сложный тембр голоса; поэтический мир Бродского стереоскопичен, полон светотени — как реальность.

Окончание на стр.12

Иосиф Бродский. Фото автора.



Книга Бродского «Новые стансы к Августе» состоит из шестидесяти стихотворений и имеет подзаголовок: «Стихи к М.Б., 1962-1982». В свое время я и, думаю, не только я, а многие из прочитавших книгу не могли не обратить внимания на тот факт, что, несмотря на подзаголовок сборника, не все стихи в нем прямо обращены к адресату, обозначенному инициалами М.Б., или говорят о любви (либо каких-то иных чувствах) к ней. Иногда это описание пейзажа, события, пересказ мифа, то есть стихи не об отношениях двух людей, а об отношениях человека с миром, причем этим человеком не всегда является автор.

Гораздо позже первого прочтения, после перечитывания (и не только книжки, но и собственной жизни), наступает момент, когда эта загадка поэта становится равносильной загадке любви как таковой. Может быть, лучше сказать «тайне любви»? — ведь загадка имеет разгадку, а тайна становится только таинственнее от попыток проникнуть в нее, и разве не такова любовь? Нет, как ни странно, поскольку, какой бы тайной ни казалась любовь, какое бы благоговение она ни внушала, любовь имеет разгадку, причем не несущую разочарование, а только бесконечно усиливающую «благоговение». Именно об этой разгадке в формулировке Иосифа Бродского мне кажется уместным сказать в годовщину смерти поэта.

Загадка присутствия в сборнике «Новые стансы к Августе» стихов не о любви, на мой взгляд, имеет непосредственное отношение к загадке отсутствия стихов о любви в творчестве Бродского после 82-го года, вплоть до конца жизни. (Исключением, подтверждающим правило и в полной мере искупающим это отсутствие, будет очень длинное — как бы на вырост, на последующее молчание! — дивное стихотворение 84-го года «В горах», уже не адресованное М.Б., и еще одно-два коротких.)

Вообще говоря, где еще, как не в стихах, и кроется ответ на все загадки и тайны мира поэта? В стихах, конечно, все сказано. В том числе и о загадке любви. В стихотворении «В горах», например, уж точно.

Но иногда подмога все же приходит со стороны. То есть со стороны не стихов поэта, а его разговора с читателем напрямую — в лекции, в статье. Так в одном из эссе, написанных по-английски и составляющих книгу «On Grief and Reason» («О скорби и разуме»), Бродский излагает суть своей «науки любви», заостря внимание на природе любви поэта, на том, зачем пишутся любовные стихи и какими последствиями для поэзии любовь поэта оборачивается. Эссе очень простое, только называется странно: «Altra ego».

Как это — *altra ego*, почему не *alter ego*? А потому что это — возлюбленная поэта, автономный человек, а не некая химерическая тень мира «я», видимая разными «я» совершенно по-разному и традиционно именуемая *alter ego*. Однако возлюбленная поэта близка ему настолько, что впору дать ей имя (учитывая пол и разрешая словам поиграть) *altra ego*, «вторая я».

Эхо, зеркало — два образа отражения (звукового и зрительного) доминируют у Бродского, когда он говорит об *altra ego*, в том числе и в стихах, например, в «Венецианских строфах»: «...прижаться к живой кости, как к горячему зеркалу, с чьей